

ХАНС УЛЬРИХ ГУМБРЕХТ

«ПАТОС ЗЕМНОГО ПУТИ»: БУДНИ ЭРИХА АУЭРБАХА

В статье представлена краткая интеллектуальная биография Эриха Ауэрбаха, охватывающая ранний период его академической карьеры и историю вынужденного отъезда из нацистской Германии. Автор концентрирует свое внимание на истоках интереса немецкого ученого к проблемам «действительности» и «повседневности». Фигуры Вальтера Беньямина, Людвига Бисвангера, Лео Шпитцера и Вернера Краусса представлены в качестве поэтических персонажей биографии Ауэрбаха, призванных контекстуализировать трагичность эпохи, в которой этим ученым пришлось изобретать свою идентичность.

Ключевые слова: биографический очерк, действительность, повседневность, экзистенциальное значение, Ауэрбах, Беньямин, Бисвангер, Шпитцер, Краусс.

Создавая портрет великого филолога Эриха Ауэрбаха¹, я буду исходить из двух очень разных значений концепта «повседневности». Несмотря на то, что сохранилось до удивления мало документов и свидетельств (впрочем, это могло быть намерением самого Ауэрбаха)², я все же попытаюсь описать особый стиль и отношение, определившие его повседневную жизнь. Биографические компоненты в моем эссе будут появляться в неразрывной связи с концептом повседневности, сыгравшим решающую роль в западной интеллектуальной истории в первые десятилетия XX века.

Повседневность стали рассматривать как эпистемологическую проблему в 1890-х годах, воспринимая ее как замену «философскому по-

© Hans Ulrich Gumbercht, 1996

© Stanford University Press, 1996

© Инга Иштван, перевод, 2016

Публикуется по изданию: Gumbercht, H. U. "Pathos of the Earthly Progress: Erich Auerbach's Everydays", en Lerer, Seth (Ed.): Literary History and the Challenge of Philology. The Legacy of Erich Auerbach, Cal., Stanford, 1996, pp. 13–35.

нятию «истины»». Это повлияло на становление социологии как академической дисциплины и во многом определило основное поле исследовательских интересов самого Эриха Ауэрбаха — «серьезное изображение повседневной действительности в литературе»³. Основанием для проведения параллелей между жизнью Ауэрбаха и его работами может послужить небольшое примечание из введения к его последней работе «Литературный язык и публика в эпоху поздней античности и Средневековья»⁴. Там Ауэрбах непривычно резко критикует манеру представителей современной Новой Критики не уделять внимания биографии автора в ходе интерпретации литературных текстов: «В каждом произведении мы с пониманием и любовью читаем описание человеческого существования, потому что именно это позволяет нам осмыслить возможность своего собственного бытия». По большей мере, именно в этом смысле (и, таким образом, исходя из перспективы интеллектуальной обеспокоенности, которая стала для нас историчной) я буду стремиться рассмотреть именно «экзистенциальное значение»⁵ темы «серьезного изображения повседневной действительности» у Эриха Ауэрбаха, используя оптику «взаимного прояснения» (или «*wechselseitige Erhellung*», как говорил германист Оскар Вальцель в 1920-х годах), чтобы показать связь между его жизнью и работами.

Увольнение Ауэрбаха

23 сентября 1935 года Эрих Ауэрбах, отдохавший с конца лета в Риме, написал Вальтеру Беньямину письмо в Париж. Беньямин и Ауэрбах — оба родились в 1892 году и, возможно, были знакомы друг с другом с начала 1920-х годов⁶, но это знакомство было недостаточно близким, чтобы отказаться в переписке от обращения на «Вы». Поводом для возобновления общения стала публикация фрагмента рукописи Беньямина «Берлинское детство на рубеже веков» в *Neue Zürcher Zeitung* (в субботу, 21 сентября 1935 года)⁷. Первой ее заметила жена Ауэрбаха Мари, из-за сложной политической обстановки того времени прочитавшая этот текст со смешанными чувствами. Само письмо Эриха Ауэрбаха не оставляет сомнений в том, до какой степени он уже летом 1935 года осознал, что рано или поздно ему придется покинуть место профессора романской филологии в Марбургском университете и разделить судьбу эмигранта с Беньямином:

Мы здоровы. Я все еще занимаю свою должность, но от моего статуса уже мало толку. Мой младший коллега [*Privat-*

dozent] Вернер Краусс читает основной курс лекций и ведет семинар, он же принимает и экзамены — со всем он справляется блестяще. Маловероятно, что я смогу предложить какие-либо курсы на протяжении зимнего семестра, тем не менее, это возможно. Что же представляется мне совершенно невозможным, так это описать Вам всю странность моей ситуации⁸.

Перечисляя подробности своих академических будней в Марбурге, которые вряд ли могли заинтересовать Бенямина, Ауэрбах пишет письмо с позиции постороннего наблюдателя. Легкая ирония напоминает нам тональность в некоторых романах XIX века, и это интригует намного больше, чем «странность ситуации», которую он описывает. Возможно, этот тон был особой составляющей индивидуального стиля, которому были несвойственны драматические выражения и жалобы.

Предчувствие не обмануло Ауэрбаха, он так и не прочитал трех курсов, анонсированных на зимний семестр 1935–36 годов в *Vorlesungsverzeichnis*¹⁷ Марбургского университета: «История, инструменты и методы романской филологии», «Джамбаттиста Вико» и «Семинар по догматическому содержанию избранных произведений романской литературы»⁹. Особенно ироничным кажется то, что это был первый марбургский *Vorlesungsverzeichnis*, напечатанный готическими буквами.

16 октября 1935 года, сразу после начала лекционного периода, на домашний адрес Ауэрбаха, в дом номер «3» по Фридрихштрассе, пришло давно ожидаемое письмо от университетского куратора Эрнста фон Хюльзена¹⁰:

После нашей вчерашней беседы и учитывая Ваше согласие с условиями указа министра науки, воспитания и народного образования от 14 октября 1935 года <...> где поднимался вопрос о лицах еврейской национальности, работающих на государственной службе, у которых двое родственников в третьем поколении были евреями, именем вышеупомянутого министра я освобождаю Вас от выполнения всех обязанностей в Марбургском университете. Этот указ вступает в силу с настоящего момента¹¹.

¹ *Vorlesungsverzeichnis*, n (нем.) — справочник по университетским лекциям.

Процедурная точность этого документа не может скрыть то, какому давлению в то время подвергались официальные лица. Должно быть, они панически боялись начать академический 1935–1936 год с профессорами-евреями в штате университета. Всего через день после публикации указа министерства в Берлине, Ауэрбаху зачитали его у проректора, а на следующий день — он получил официальное письмо, в котором ему сообщали об увольнении.

Последующий документ, в котором объявляется о вынужденном уходе Ауэрбаха с госслужбы (с написанным от руки приложением, где невозможность сохранения статуса госслужащего обосновывалась лишением евреев немецкого гражданства с 14 ноября 1935 года), был составлен 23 декабря 1935 года, а вступил в силу 1 января 1936-го. Тем не менее, некоторые профессора-евреи, особенно ветераны Первой мировой войны, к которым относился и Ауэрбах, должны были получить пенсию, размеры которой на тот момент еще не были определены.

В соответствии с правилами немецкой академической традиции эта процедура была завершена 23 января 1936 года, когда министерство в Берлине разрешило Марбургскому университету заменить Ауэрбаха. Если принимать во внимание эти стандарты, особенно необычно в этом разрешении смотрелся отдельный пункт, в котором руководству университета настоятельно рекомендовалось обратить особое внимание на профессора Шюрра из Грацкого университета, вероятно, бывшего членом национал-социалистической партии. Вскоре он принял приглашение занять должность профессора¹².

По-видимому, отдых в Италии, во время которого Ауэрбах возобновил общение с Беньямином, позволил ему серьезно переосмыслить свою жизнь в государстве Третьего Рейха. В письме Беньямину, датированном 6 октября и отправленном из Флоренции, легкая ирония приправлена долей резкой самокритики:

Я мог бы рассказывать бесконечные анекдоты касательно Марбурга, но их невозможно записать, и дело тут не только во внешних обстоятельствах. Все закончилось, это не потребовало особой мудрости <...> скорее обретения спокойствия (что мне не всегда легко давалось). Кроме того, в этом было больше глупости, нежели мудрости. В Марбурге я жил среди людей, происхождение и жизненные обстоятельства которых совершенно отличны от наших, но они, тем не менее, мыслят так же, как и мы. Это совершенно поразительно, но в этом-то и кроется искушение глупости — иллюзии общего основания, на котором можно что-то по-

строить, хотя индивидуальные мнения, какими бы они не были многочисленными, никем не учитываются. Только путешествие избавило меня от этого заблуждения¹³.

В отсылке Ауэрбаха к своей «глупости» читался намек на академическую (и даже социальную) нормальность, к которой он успел привыкнуть благодаря идеальным условиям для работы, созданным в Марбурге. Хотя в то время он еще не считался выдающим литературным критиком в своей стране и во всем мире, да и занял свою должность уже после периода расцвета местного *Philosophische Fakultät*, который пришелся на 1920-е годы, Ауэрбах был окружен небольшой группой талантливых студентов, а также интересных и, по немецким стандартам того времени, либерально настроенных коллег. Больше всего в этой ситуации его привлекала возможность работать с Вернером Крауссом, которого ему порекомендовал Карл Фосслер, на тот момент бывший безоговорочным лидером школы *Romanische Philologie*¹⁴. Закончив в 1929 году в Мюнхенском университете работу над докторской диссертацией, посвященной литературе испанского Средневековья, Краусс в 1931 году приехал в Марбург, где благодаря поддержке Ауэрбаха (скорее моральной, нежели интеллектуальной), занял в 1932 году место приват-доцента¹⁵.

В то время как для немецкой университетской традиции считалось нормальным, что Краусса не назначили на место Ауэрбаха после эмиграции последнего в 1935 году, неудачей закончились и инициативы предложить Крауссу место профессора в других немецких университетах. Его эксцентричность ученые национал-социалистического толка вполне оправданно, с их точки зрения, истолковывали как нехватку политической надежности¹⁶. В августе 1940 года Краусса призвали в армию Вермахта на должность переводчика. Он должен был анализировать сводки испанской прессы. Краусс работал в Берлине, где 24 ноября 1942 года его арестовало Гестапо, обвинив в участии в подпольной группе сопротивления *Rote Kapelle*. Ирония ситуации была в том, что это произошло спустя всего четыре месяца после его назначения на пост *Ausserordentlicher Professor*²⁾ в Марбурге. В январе 1943 года суд присяжных, возглавляемый офицером СС, приговорил его к смерти¹⁷. Краусс выжил благодаря одной из самых невероятных операций по спасению жертв Третьего Рейха. По видимому, по инициативе его друга Ханса Георга Гадамера, который

² *Ausserordentlicher Professor*, m (нем.) — экстраординарный профессор.

к 1943 году стал профессором в Лейпциге, некоторые его коллеги из Марбургского университета¹⁸ выступили с обращением, в котором они просили смягчения приговора, объясняя эксцентричное поведение Краусса наличием шизофренических тенденций. Среди прочих «клинических симптомов» было также упомянуто, что Краусс был зачат в период, когда брак его родителей дал глубокую трещину, а во время его пребывания в Марбурге на его лице зачастую были видны порезы из-за ежедневного бритья. Даже не встретившись с Крауссом лично, профессор Кретшмер, директор психиатрической больницы Марбурга, пользовавшийся огромным авторитетом у нацистов¹⁹, подтвердил диагноз, основываясь на этих так называемых наблюдениях²⁰. Повторное рассмотрение началось 30 декабря 1943 года, а в сентябре 1944 смертный приговор Краусса был заменен пятью годами в тюрьме. После окончания войны Вернер Краусс вернулся в Марбург, где после длительной бюрократической волокиты ему разрешили занять его прежнюю должность в университете²¹. Поскольку ему так и не предложили пост профессора и поскольку, что куда более важно, он с возрастающим пессимизмом смотрел на политическое будущее западных «зон» Германии, в 1947 году он принял предложение занять место профессора в Лейпциге. Двадцать девять лет спустя Вернер Краусс умер в Восточном Берлине. Он стал основателем единственной школы марксистской истории литературы в «своей» стране, исследования которой остаются актуальными даже после 1989 года. До самой смерти Ауэрбаха в 1957 году Краусс продолжал общаться со своим марбургским наставником.

«Спокойствие» Ауэрбаха

Понятие «спокойствия»³⁾, которое Ауэрбах во втором письме Бенъямину, отправленном из Италии, обозначил как необходимое, но не всегда достижимое состояние души, после публикации «Бытия и времени» в 1927 году стало важным концептом хайдеггеровской *Existentialphilosophie*. Оно отсылало к главной способности «подлинного существования» — с открытыми глазами взглянуть в лицо смерти как неизбежного итога человеческой жизни. В значительно большей степени, чем для Вернера Краусса, боровшегося с превратностями немецкой истории, это отношение стало лейтмотивом жизни Эриха Ауэрбаха. Гордясь своим прусским образованием, он делал все возможное, чтобы сохранять видимость нормальности во время

³ Gelassenheit, f (нем.) — спокойствие, отрешенность.

правления национал-социалистов, выполняя самые абсурдные требования, которые были выдвинуты госслужащим-евреям после 30 января 1933 года. Иногда эти правила даже формально не существовали, но, к примеру, во время весенних каникул 1934 года Ауэрбах формально попросил разрешения ректора своего университета провести несколько дней отпуска в «Рапалло, возможно, также во Флоренции»²². Всего через несколько месяцев, 19 сентября 1934 года, он принес «клятву верности немецких госслужащих» Адольфу Гитлеру. На бланке официального подтверждения этой процедуры в качестве ожидаемой даты мероприятия был указан август, но затем поверх нее написали слово «сентябрь», и это позволяет предположить, что Ауэрбах тянул с этим до последнего. Когда летом 1936 года Ауэрбах получил предложение из Стамбула — от организации, специализирующейся на поиске университетских вакансий для немецких ученых²³, — он подал перевод своего контракта в Марбургский университет и министерство в Берлине и не покинул страну, пока не получил официального разрешения, позволяющего ему поселиться в Турции. Несмотря на все возрастающую опасность ситуации, в которой он и его семья находились в Германии, а также жесткие временные рамки, которые ему поставил его будущий работодатель в Стамбуле, Ауэрбаху удалось договориться о том, что после 1941 года он вернется в страну, которую продолжал считать своей родиной. Его тогдашняя крепкая вера в законность немецких институций отражена в разрешении, выданном им одному берлинскому юристу²⁴, представлять его в финансовых вопросах.

Тем не менее, личное дело Ауэрбаха как *Beamter*⁴⁾ в Марбургском университете в буквальном смысле слова оставалось открытым даже после его отъезда в Стамбул. Некоторым представителям немецких властей не нравилось то, что он получил разрешение вернуться. 24 ноября 1936 года марбургский проректор получил письмо от Министра науки, воспитания и общественного образования, требующее безотлагательного решения и написанное куда более нервным тоном:

Я только что получил информацию, указывающую на то, что профессиональная деятельность профессора Ауэрбаха за границей может противоречить немецким интересам в сфере политики и культуры, поскольку с политической точки зрения, профессор Ауэрбах предстает в негативном свете... Посему я требую дополнительного ускоренного до-

⁴ Beamter, m (нем.) — государственный служащий, сотрудник.

клада касательно фактов, на которых основывалось выданное Вами разрешение. Следует также сопроводить их комментарием представителя Партии в Марбургском университете [*Führer der Dozentenschaft*].

Несмотря на доброжелательный (и поразительно вежливый) ответ проректора на этот запрос, партиец Дюринг²⁵ написал министру следующий комментарий:

По моим наблюдениям, профессор Ауэрбах во время своей работы в Марбурге отличался крайней сдержанностью в своих политических взглядах. Несмотря на это, он всегда был противником национал-социализма. Не стоит ожидать, что во время работы за рубежом он будет отстаивать интересы Третьего Рейха. Скорее, я считаю неприемлемым позволять евреям выезжать за границу в роли представителей немецкого академического сообщества, поскольку в долгосрочной перспективе это неизбежно приведет к пагубным последствиям.

Последний документ, подтверждающий догадку о том, что эмиграция Ауэрбаха не стала последней точкой в его взаимодействии с немецкими властями, — это доклад о его деятельности в Турции, подготовленный немецким генконсульством и датированный 4 января 1941 года. Самым поразительным стало то, что поводом послужила просьба Ауэрбаха продлить разрешение на проживание за рубежом. В этом докладе присутствует недосказанность²⁶, которая воплотилась в до странности неопределенном бюрократическом решении. Министр официально не разрешил Ауэрбаху остаться подольше в Стамбуле, но также не обязал его вернуться в Германию. Даже финансовые дела (бывшего?) госслужащего оставались нерешенными²⁷.

Увлеченность Ауэрбаха

Об этом так часто говорили, что в этом определенно есть доля правды — решающее влияние на становление Ауэрбаха как гуманиста оказало чтение Вико. Этот автор оставался для него важен на протяжении всей его жизни²⁸. Из работ Вико Ауэрбах почерпнул уверенность в том, что все, что было создано людьми, — и только то, что было создано людьми, — может быть предметом интерпретации и объяснения. У Вико Ауэрбах научился тому, что историческое по-

нимание требует от нас находить для каждого периода подходящую перспективу. Философская позиция, на которой базируется подобный перспективизм, исключает веру в общие законы исторических изменений, а также в трансисторические структуры человеческой жизни. В то же время, исторический перспективизм исходит из «филологической истины» как *certum* — в отличие от концепта «философской истины» как *verum*²⁹. Наконец, можно даже предположить, что работа Вико вдохновила Ауэрбаха на интерпретацию своего собственного времени как периода упадка европейской культуры в ее традиционных форме и значении³⁰.

Тем не менее, эта концепция истории и метод исторической интерпретации, несмотря на всю их сложность, не объясняют, почему среди бесконечного количества возможных тем и вопросов, «серьезная интерпретация повседневной действительности» оставалась основным предметом интереса Ауэрбаха на протяжении всей его карьеры. Кроме того, даже если мы примем этот выбор темы как данность, остается открытым вопрос о том, как же именно повседневная реальность связана с концептами «судьбы», «драмы» или «трагедии», к которым постоянно обращался Ауэрбах, переходя от сугубо текстуального анализа к философским (и не всегда особенно оригинальным) размышлениям о человеческом существовании³¹. Ответ на эти вопросы позволяет провести параллели между жизнью самого Ауэрбаха и его интересом к концепту повседневной реальности, между его биографией и его работами.

Противостояние неизбежности судьбы и трагедии повседневной действительности требует обладания спокойствием. Другими словами, обретение спокойствия как состояния души стало обратной стороной того опыта, который в этот исторический период переживал сам Ауэрбах и примеры которого он искал в европейской литературной традиции. Наиболее полное рассмотрение этих концептуальных построений можно найти в его книге «Данте — поэт земного мира», которую Ауэрбах опубликовал в 1929 году и в том же году подал в Марбургский университет в качестве *Habilitationsschrift*⁵⁾ ³². Эпиграфом к работе послужило высказывание Гераклита, напечатанное по-древнегречески и латыни: «Нрав — судьба человека»⁶⁾. Эти слова позволяют понять самое главное в ауэрбаховском прочтении «Божественной комедии». Для него Данте был первым среди тех европей-

⁵ *Habilitationsschrift* (нем.) — докторская диссертация для получения доцентуры.

⁶ Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира: Пер. с нем. Г. Вдовиной / Э. Ауэрбах. — М.: РОССПЭН, 2004. — 207 с. — С. 29.

ских поэтов, кто наделял персонажей чертами своего собственного характера. В своем концепте индивидуальности Ауэрбах подчеркивал и «земные» аспекты человеческого существования — возможно, потому что он разделял типичное для интеллектуалов 1920-х годов³⁴ понимание «подлинности» как единства духа и тела: «Убежденность в том, что человек есть единство — неразрывная связь телесного облика и телесных сил с душой, наделенной разумом и волей; что это единство обладает особой судьбой, потому что постоянно притягивает к себе, словно магнитом, и собирает вокруг себя сообразные ему события и переживания, которые срастаются с ним и становятся его частью, — эта убежденность была присуща европейской поэзии уже в ее греческом начале»^{7) 35}.

Помимо идеи о том, что «судьба» и «подлинность» лежат в основе понятия «индивидуальности», которую Ауэрбах разрабатывал в своей работе «Данте — поэт земного мира», его самым важным вкладом в истолкование «Божественной комедии» стало то, что там просматривается два значения индивидуальности: «А именно, идея о том... что судьба отдельного человека не бессмысленна, но... неизбежно значима и трагична, и что в ней открывается контекст всего мира»³⁶. Тем не менее, индивидуальность важна не только как *судьба*, но и как исток трагического. В то же время, индивидуальность как *форма* — это принцип, который защищает от трагедии и даже помогает ей противостоять. Именно благодаря этому аспекту, согласно Ауэрбаху, трагический индивидуум у Данте отличается от образа человека в классических древнегреческих трагедиях.

Природа этой борьбы, ярче всего представленной в словесных баталиях у Софокла, приводит к тому, что вступающие в нее люди утрачивают часть собственной сути. Настолько стесняет их отчаянная нужда, столь сильно вовлечены они в смертельную схватку, что от их собственной личности ничего не остается, кроме возраста, пола, социального положения и самых общих признаков темперамента. Их поступки и их чувственный облик всецело определяются драматической ситуацией, т. е. тактическими требованиями борьбы³⁷.

В то время как относительно легко проанализировать, как эта философская конфигурация появилась в работах Ауэрбаха под влиянием интеллектуальных течений того времени,³⁸ биографические

⁷ Там же — С. 7.

документы не объясняют самое значимое решение в его карьере — подать книгу о Данте как *Habilitationsschrift* в Марбургский университет.

26 сентября 1929 года прусский министр науки, искусства и общественного образования перевел Эриха Ауэрбаха, занимавшего пост *Bibliotheksrat* в Прусской государственной библиотеке в Берлине, где он работал с 1923 года, в библиотеку Марбургского университета. Будучи сугубо бюрократическим маневром, который позволил Ауэрбаху начать преподавательскую карьеру в Марбурге и сохранить статус госслужащего³⁹, эта процедура стала еще одним испытанием его способности сохранять спокойствие. За три недели до вступления в силу решения министра марбургский проректор отправил письмо директору Прусской государственной библиотеки с вопросом о том, позволит ли материальное положение Ауэрбаха заниматься преподавательской деятельностью без вознаграждения. Из Берлина был получен отрицательный ответ, в котором, в частности, указывалось, что зарплату Ауэрбаху предполагалось начислять за его работу в Марбургской библиотеке; заканчивался он следующими словами: «Мы не обладаем конкретной информацией касательно источников доходов доктора Ауэрбаха. По-видимому, в прошлом он был достаточно обеспечен, но понес значительные убытки во время инфляции». Всего через полгода, в марте 1930-го, Ауэрбаху пришлось вернуть министерству 253,71 рейхсмарок (примерно половину его тогдашней зарплаты) за то, что ему переплатили в 1927 году. Он вернул деньги двумя платежами, что в косвенной мере, кажется, подтверждает мнение сотрудника государственной библиотеки о его финансовом положении⁴⁰.

Подобные административные проблемы (и их решения) указывают на то, что инициатива перевода Ауэрбаха исходила от министерства в Берлине, а не от Марбургского университета. Эта интерпретация позволяет усомниться в распространенном предположении, что его появление в академической среде стало результатом плана Лео Шпитцера, который тогда занимал кресло профессора романской филологии в Марбурге. Тем не менее, вопреки всем сложным бюрократическим проволочкам, Ауэрбах так же быстро прошел предшествующий ритуал хабилизации во время летнего семестра 1929 года, как и любой другой кандидат со стороны. В докладах, написанных старшими преподавателями факультета, было только одно слегка негативное замечание, которое само по себе, как кажется, было типичным для интеллектуалов в политической обстановке Германии 1930-х годов. Англовед Дойчбейн заметил, что в одном абзаце книги Ауэрбаха

о Данте «вводящее в заблуждение выражение “германские варвары” должно быть удалено в любом научном труде». Кроме того, мы могли бы предположить, что латинист Ломмач, который просто выразил свое согласие с преимущественно положительными оценками коллег, был не особенно рад тому, что Ауэрбах может стать его коллегой. Еще в бытность свою профессором Грайфсвальдского университета Ломмач поставил Ауэрбаху самую низкую оценку (*rite*) на кандидатских экзаменах в 1921 году. Что еще более важно и удивительно, чем эти детали, так это то, что в крайне хвалебном и, по современным стандартам, очень длинном отзыве Лео Шпитцера на книгу о Данте не было ни слова о центральной для Ауэрбаха проблеме — серьезном изображении индивидуальности и трагедии повседневности. С ясностью, которая делает любую интерпретацию излишней, первый параграф текста Шпитцера показывает, что хотя он в какой-то мере и обратил внимание на различие между профессиональным стилем Ауэрбаха и своим собственным, он не мог не считать книгу молодого коллеги попыткой вмешаться в академическую дискуссию. Подобное отношение было предельно далеким от того академического образа, который Ауэрбах начал культивировать на протяжении тех лет, но, с другой стороны, это было более чем характерным для профессиональной идентичности самого Шпитцера:

Гармонично сбалансированный, элегантный тон книги Ауэрбаха о Данте, не прерываемый полемическими ремарками, мог бы заставить читателя позабыть о том, что автор в своей строгой критике Б. Кроче и К. Фосслера, двух ведущих исследователей Данте, преследует вполне полемическую цель. Он критикует намерение Кроче отделить поэтические красоты *Commedia* (единственный аспект, который остается для нас значимым) от системы средневекового знания, представленной в тексте Данте. ... Он также оспаривает предположение Фосслера о том, что Данте в своей поэме тематизирует не столько земной или небесный миры, сколько свою жизнь и личность.

В то время как описание Шпитцером различий между ауэрбаховским прочтением Комедии и интерпретациями Кроче и Фосслера было довольно адекватно, он переоценил готовность Ауэрбаха как интеллектуала вступать в полемические дебаты, а посему остался слеп к занимавшим его экзистенциальным проблемам. От внимания Ауэрбаха не ускользнуло это глубокое отличие между критическим и личным темпераментом Шпитцера и его собственным. 13 июля 1929

года, пройдя Habilitation по романской филологии, а затем и получив свой первый конкретный опыт преподавания в университете на протяжении зимнего семестра 1929–30 годов, Ауэрбах написал длинное письмо о ранней стадии своей университетской карьеры своему другу Людвигу Бисвангеру, исследователю французской литературы, не занимавшему академического поста⁴¹. Подчеркнув, что его впечатления еще нельзя считать окончательно сформировавшимися, и упомянув преимущественно дружелюбную атмосферу в качестве «позитивной стороны» своего опыта, Ауэрбах продолжил тем, что он назвал «комедией Шпитцера и его студентов», а также «проблематической стороной, если мягко сказать» его поведения:

Шпитцер — сын венского еврея и оперной певицы. Он крайне деятелен и довольно бестактен, и хотя одарен живостью воображения, у него нет даже намек на культуру и подлинный критический дух. Он очень душевен, зол, претенциозен, неуверен в себе, эмоционален, невероятно открыт и обладает врожденным талантом комедианта. Он неспособен ни минуты просидеть спокойно, он всегда должен работать, танцевать, любить, двигаться и приводить в движение остальных. В общем, мне он вполне по душе, и я могу многому у него научиться, но у него нет ни малейшего представления о том, кем я являюсь на самом деле. Его восхищение и критика никогда не попадают в цель, а наша дружба — клубок недопониманий. И все же он верит, что обязан меня поучать и что он имеет на это право. Вы бы его видели. Лицо комика, взгляд устремлен вперед, длинный барочный нос, вьющиеся волосы, слегка тронутые сединой, всегда вышагивает по улице в своем чересчур коротком пальто. И этот человек искренне любит своих студентов, сражаясь за их расположение, открываясь им всей душой и полагаясь на их суждения.

Независимо от того, насколько точно этот шарж изображает самого Шпитцера⁴², он отражает потребность Ауэрбаха в том, чтобы определить свою собственную идентичность в присутствии человека, который, будучи всего на пять лет его старше, уже давно считался вундеркиндом в их общей профессии. Образ Шпитцера, обрисованный Ауэрбахом, был предельно далек от идеала человека, сохраняющего спокойствие и наделенного способностью чувствования трагичности повседневной жизни, и поэтому неудивительно, что рядом со Шпитцером Ауэрбах чувствовал себя скромным серым кардиналом⁴³.

Когда Ауэрбах написал это письмо Бисвангеру в марте 1930 года, он, возможно, еще не знал, что Шпитцер как раз в это время принял предложение от Кельнского университета. Уже 26 апреля 1930 года Ауэрбаху официально поручили заменить Шпитцера на летний семестр и, по-видимому, без поисков других кандидатур⁴⁴, 28 октября 1930 года его назначили профессором романской филологии в Марбургском университете. Интеллектуальное и физическое отсутствие Шпитцера не освободило Ауэрбаха от его довлеющего влияния. Одной из первых публикаций Ауэрбаха в *Ordinarius* стала рецензия на книгу Шпитцера «*Romanische Stil- und Literaturstudien*», где в духе подлинного серого кардинала он посетовал на противоречие между очевидным талантом Шпитцера и его недостаточной зрелостью.

Иногда кажется, словно он [Шпитцер] стремится победить произведение искусства своими имитирующими словами. И что за слова он зачастую использует! Этот мастер критики стиля еще не отыскал своего собственного, а посему он тем временем компенсирует нехватку, выбирая не самые удачные модели для подражания. Часто мы находим фразы, которые словно взяты из устаревших публицистических текстов, с особой гордостью Шп. использует любимые словечки писателей 1918 года. Из-за всего этого мы можем согласиться с ним только иногда, в отдельно взятых случаях, а восхищение и симпатия, которые мы испытываем, читая каждую страницу его книги, сопровождаются долей сожаления о том, что таким обширным и точным познаниям, такому невиданному таланту и живому уму может не хватать внутренней рассудительности и культуры⁴⁵.

Эти резкие слова Ауэрбаха, только недавно ставшего профессором, были опубликованы в 1932 году. Словно для того, чтобы продолжить запутанную игру взаимных провокаций, в том же году Шпитцер пригласил Ауэрбаха прочитать лекцию в Кельне. Ауэрбах ответил очередным жестом в стиле *eminence grise*, написав в гостевой книге Кельнского института следующее послание: «Предмет нашего интереса — не учение о Бытии и Culture, но скорее “то, не был ли Христос римлянином”»⁴⁶. Дистанцируясь от высокопарных философских и педагогических дискурсов своего времени, эти слова показывают, что Ауэрбах все больше вживался в роль «носителя, страдальца и неверующего» западной культуры, а также «ученого-самоучки, исследователя сложных текстов, единственного выжившего представителя

великой культуры, обладающего повышенной чувствительностью к веяниям идеологий, спасителя себя самого»⁴⁷.

В предисловии к книге *Deutscher Geist in Gefahr* коллега Шпитцера и Ауэрбаха Эрнст Роберт Курциус в мрачных тонах описывает ситуацию в Германии на рубеже 1931–1932 годов: «Каждый в Германии чувствует, что грядущий год будет годом великих свершений... Германия содрогается в конвульсиях, и у нас осталась только одна надежда — наша ситуация должна улучшиться, поскольку хуже уже она быть не может»⁴⁸. В то время как Курциус искренне надеялся на возрождение какой-то абстрактной формы гуманизма, призванного противостоять антиинтеллектуализму, который он приписывал, не проводя различий, фашистам и большевикам⁴⁹, Ауэрбах писал Бисвангеру о «чарующих путешествиях по Италии и долинам Майна и Неккара», в которые он отправлялся с семьей на своем форде с откидным верхом в 1932 году. Казалось, он пребывал в до странности жизнерадостном расположении духа: «Я больше не думаю, что мы погрязли в маразме, все вокруг оживает; конечно, я в этом уже не участвую, но это меня не беспокоит».⁵⁰ Внутренняя отрешенность позволила Ауэрбаху с некоторого расстояния наблюдать за трагедиями повседневности и наслаждаться размеренным течением жизни, но расплатой за это стала его политическая недалекость.

Окружение Ауэрбаха

Интерес Эриха Ауэрбаха к повседневной действительности был частью важного эпистемологического поворота в западной культуре, который начался в конце XIX века⁵¹. В то время стали все чаще отказываться от поиска абсолютной истины, ставшего политической программой в эпоху Просвещения, и обращать внимание на более прагматические вопросы — «повседневности» и «действительности» как необходимого и достаточного основания для действия и взаимодействия.

Эта замена вызвала так много разных реакций и культурных последствий, что в исторической ретроспективе десятилетий после 1900 года немецкий поэт Готфрид Бенн стал говорить о «действительности» как «демоническом концепте Европы»⁵².

И все же парадоксальным было то, что утрата истины как инстанции, гарантировавшей возможность обретения когнитивной и экзистенциальной уверенности, привела к переносу определенных функций и ожиданий от концепта истины к новым концептам действительности и ее заменителей. Мартин Хайдеггер во многом исходил

из антиинтеллектуальной установки, когда в «Бытии и Времени» основывал онтологию на понятии «усредненной обыденности»⁵³. Сходным образом понятие «жизненного мира» у Гуссерля в «Кризисе европейских наук» послужило основанием для практической ориентации, став своеобразной программой его поздних работ⁵⁴. С другой стороны, возрастающая сложность концепта действительности превратилась в критерий, который сделал невозможной критику определенного современного феномена, характеризовавшегося «нехваткой субстанции», а следовательно, считавшегося «нереальным». Типичным примером этому стал анализ денег, предпринятый Освальдом Шпенглером в последних главах книги «Закат Европы», изданной в 1918 году:

Диктатура денег продвигается вперед и приближается к своей естественной высшей точке, как в фаустовской, так и во всякой другой цивилизации. И здесь происходит нечто такое, что может постигнуть лишь тот, кто проник в сущность денег. Если бы они были чем-то осязаемым, их существование было бы вечным; но поскольку они являются формой мышления, они *угасают, стоит им продумать экономический мир до конца*, причем угасают вследствие отсутствия материи⁵⁵.

Даже в большей мере, чем специфические политические или экономические условия начала XX века (и, конечно, в большей степени, чем любые философские аргументы), описание вышеупомянутого сдвига от эпистемологии истины к эпистемологии действительности в терминах *утраты* или *упадка*, возможно, стало причиной того, что зачастую это сопровождалось глубоко пессимистическими взглядами на человеческое существование. Подобные построения время от времени возникали на каждом уровне интеллектуальной традиции — от утверждения Мартина Хайдеггера о необходимости осознания смерти как определяющего условия человеческой жизни до концептуально блеклых, но известных во всем мире эссе Мигеля Де Унамуну *El sentimiento tragic de la vida* и *La agonía del Cristianismo*, написанных в 1912 и 1926 годах.

Наконец, подобное ощущение упадка и утраты, трагедии и пустоты породило желание чем-то его компенсировать, потребность найти новое основание или противопоставить что-то более «существенное» этой «экзистенциальной пустоте». Когда непосредственная действительность стала казаться лишенной субстанции, подобные компенсаторные заменители было найти нелегко — и эта ситуация объ-

ясняет интерес движения «Консервативная революция»⁵⁶ к таким специфическим задачам, как воссоздание Природы или обновление Мифа⁵⁷. Тем не менее, даже это не позволяло снова ощутить устойчивость и незыблемость данного основания, поэтому *конкретность формы* как эстетическое достижение стала точкой сближения художественного и интеллектуального начал. Для некоторых исторических деятелей, к примеру, коллеги Ауэрбаха Карла Фосслера, эта реакция превратилась в заботу об эlegantности их поведения⁵⁸. В работах Эрнста Роберта Курциуса это привело к идентификации культуры с репертуаром риторических фигур, унаследованных от классической античности. Хайдеггеровский идеал «подлинного существования» был следствием не этических доводов, но скорее внутреннего эстетического контраста между подлинностью и анонимной инстанцией «Они» (*das Man*). Учитывая этот контекст, мы можем понять, что спокойствие самого Ауэрбаха и его интерес к репрезентации индивидуальной личности возникли из исторически специфической перспективы человеческого существования, наделившей измерение формы экзистенциальной ценностью.

Вехи жизненного пути Ауэрбаха

Во времена Ауэрбаха выпускной экзамен в старшей школе назывался *Abitur*, это была одна из важнейших вех биографии⁵⁹. В жизни многих выдающихся ученых блестящая сдача *Abitur* становилась началом необычной интеллектуальной карьеры. Вопреки этому, *Abitur* Эриха Ауэрбаха в престижной Французской гимназии Берлина осенью 1911 года мог бы, в лучшем случае, стать введением в историю о поисках «позднего призвания». В отзывах, которые он получил от своих учителей, не было ни малейшего признака энтузиазма: «Этот одаренный студент, будучи медлительным по природе и даже не пытаясь предпринять какое-либо интеллектуальное усилие, остался преимущественно поверхностен и не уделил должного внимания выполнению своих обязанностей»⁶⁰. Для молодого человека из обеспеченной семьи торговцев, пока не проявившего особых талантов или склонностей к чему-либо, самым нормальным решением было заняться юриспруденцией, что и сделал Ауэрбах, после 1911 года отправившись учиться в университетах Берлина, Фрайбурга, Мюнхена и Гейдельберга⁶¹. Очень необычным, даже по стандартам начала XX века, было то, что меньше чем через два года учебы в июле 1913 года он получил докторскую степень по юриспруденции в университете Гейдельберга⁶². В своей первой диссертации Ауэрбах изучает различные подходы к изучению проблемы «сложного соисполнительства», эта

тема стала связующим звеном между его первыми интеллектуальными увлечениями и главным предметом его интереса на поприще истории литературы. Сочетая компонент вины с компонентом невинности, роль соисполнителя в самой своей структуре содержит потенциал для трагедии. Хотя у Ауэрбаха сложно найти указание на то, что он склонялся к какому-либо особому догматическому решению этой проблемы, по-видимому, он с удовольствием находил примеры сложного соисполнительства в повседневной жизни и указывал на парадигматические случаи из традиции европейской литературы. Следующая цитата — это один из многих абзацев, где он переходит от более абстрактного аргумента к демонстрации «*in modo concreto*» (как он зачастую описывает свой собственный дискурс).

В этом контексте мы должны настаивать на том, что различие между людьми, обладающими свободой принимать решения, и людьми, у которых ее нет, является довольно неудовлетворительным. Даже если кто-то постулирует возможность свободы принимать решения, невозможно отрицать, что когда один человек оказывает духовное влияние на другого..., в этом случае человек, который находится под чьим-то влиянием, лишен возможности принимать решения самостоятельно. В повседневной жизни мы находим тому множество примеров. (2) В каждом конкретном случае необходимо решать, имеем ли мы дело с подобной ситуацией. [Текст сноски (2):] Примерами являются Дон Кихот и Санчо Панса, влияние Адельхейд на Вислингена и Франца; Кетхен из Гейльбронна; Савонарола. Как видим, большинство этих случаев были связаны с эротическим увлечением или религиозным экстазом. До недавнего времени в юридической практике недооценивали важность подобных случаев⁶³.

Начитанность, которая была очевидна уже в его диссертации по юриспруденции, помогла ему с легкостью перейти к исследованиям по литературе, что Ауэрбах много лет спустя описал в своем резюме, подаваясь на *Habilitation* в Марбургский университет:

Изучая юриспруденцию, я преимущественно интересовался философией, историей искусства и романских литератур, а также долгое время путешествовал за границей. В последний год до начала войны я перевелся в Школу гуманитарных наук и начал изучать романскую филологию

с профессором Морфом в Берлине. В начале войны я был призван в армию и служил с декабря 1914 по апрель 1918 года... Восстановившись после тяжелого ранения⁶⁴, в конце 1918 года я вернулся к изучению филологии.

Написав вторую диссертацию, в июне 1921 года в университете Грайфсвальда, где его берлинский консультант Эбенхард Ломмач⁶⁵ несколько месяцев назад стал профессором, Ауэрбах получил степень PhD, удостоившись второй из высших оценок — *valde laudabile*. В грайфсвальдской диссертации Ауэрбах исследовал литературные техники итальянских и французских новелл раннего Возрождения. В то время как эта тема кажется не связанной с проблемой «сложного соисполнительства», которой он занимался в своей диссертации по праву, он нашел перспективу, исходя из которой было возможным продолжать исследования обыденности трагического. Контекст истории литературы позволил Ауэрбаху впервые сформулировать его любимый парадокс, согласно которому тематизация трагического измерения обыденной жизни была исключена из-за условностей, внутренне присущих самому жанру трагедии. Вместо этого он стал говорить об историческом отношении между трагичностью обыденного и формой литературной прозы.

В то время как все народы в трагедиях и эпических поэмах говорят о Боге и человеческой судьбе (так что, безотносительно к специфическому месту и времени, речь идет о сокровенных движениях души), темой новеллы становится именно социальный мир. Следовательно, объектом этого жанра становится именно изображение мира в целом (или же то, что мы называем культурой), в нем не исследуется бытие, поиски основания или сущности, но скорее уделяется внимание тому, что является реальным и действительным⁶⁶.

Уже с начала 1920-х годов жизнь самого Ауэрбаха также стала меняться — ему пришлось отказаться от жизни привилегированного юноши и поближе познакомиться с ритуалами обыденности и нормальности, которые давно стали предметом его интереса в литературе.

В 1922 году он сдал *Staatsexamen*⁸⁾, что позволяло ему стать школьным учителем французского и итальянского. Но вместо того,

⁸ Staatsexamen, n (нем.) — государственный экзамен.

чтобы последовать по этому пути, в октябре 1923 года он устроился работать библиотекарем в Прусской государственной библиотеке. 27 февраля того же года он женился на Мари Манкевич, дочери почтенного юриста⁶⁷, а 30 ноября 1923 года у них родился сын — Клеменс. Возможно, именно создание семьи в не лучшие для экономики времена послевоенной инфляции побудило Ауэрбаха выбрать безопасное место библиотекаря. И все же то, что он мог позволить отпуск за свой счет, чтобы «на протяжении большей части 1925 года» написать в Италии и Франции ряд научных статей, позволяет предположить, что его выбор в пользу госслужбы был обусловлен не только экономическими причинами. Подобный образ жизни интересовал Ауэрбаха как экзистенциальный, если не эстетический принцип, в не меньшей степени, чем тема повседневности в литературе.

На протяжении этих лет Ауэрбах разработал сложную систему понятий повседневности, судьбы и трагедии в отношении к подлинности и индивидуальности, которая очень точно отражала интеллектуальные веяния в Германии того времени и обогатила его прочтением *Divina Commedia* в книге Данте в 1929 году. В выпуске журнала *Germanisch-Romanische Monatsschrift* 1926 года было опубликовано эссе Ауэрбаха «Расин и страсти», где он развивает тезис о том, что персонажам Расина «неподвластна сфера обыденной жизни», поскольку «они являются ничем иным, как пустыми сосудами автономных страстей и жизненных инстинктов»⁶⁸. В научной статье, опубликованной в том же году в престижном *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, Ауэрбах выступил за переоценку автобиографической прозы Поля-Луи Курье, позабытого автора времен французской Реставрации. Ауэрбах обращал внимание на то, что Курье был наделен «чувственным талантом» изображения судьбы и «смысла трагедии»⁶⁹. Всего через год в этом же журнале он описал Франциска Ассизского как исторического персонажа, воплощающего новый тип индивидуума, для которого в 1920-е годы придумали новое понимание «подлинности»: «Святой Франциск Ассизский может считаться поэтическим персонажем в смысле Вико, поскольку он в полной мере стал видимым воплощением своего собственного существования». Ауэрбаха восхищало во Франциске Ассизском глубокое личностное начало — «теплота и внутренняя сила его экспрессивности, которая, как кажется, проникает в суть вещей и открывает их сокровенный смысл»⁷⁰. Хотя уже на ранней стадии карьеры Ауэрбаха было очевидно, что он обладал скорее склонностью к изучению истории литературы, нежели к критике современной литературы, он, как и многие другие немецкие интеллектуалы⁷¹, от-

реагировал на публикацию романа Марселя Пруста *À la recherche du temps perdu*, ставшего одной из культурных сенсаций десятилетия. И все же характерным было то, что Ауэрбаха интересовала не столько мироздающая функция времени, сколько изображение Прустом «земного мира» как «неизвестной, неисследованной, таинственно созданной субстанции». В примечательном последнем предложении этого эссе о Прусте, где он описывает *Recherche* как «подлинную эпическую поэму души», Ауэрбах, возможно, впервые формулирует все причины своего интереса к изображению повседневной действительности в литературе:

Эта хроника внутренней жизни развивается в едва слышном ритме эпической поэмы, оставаясь ничем иным, как воспоминанием и самонаблюдением. Подлинная эпическая поэма души, сокровенной истины, погружающей читателя в сладкий глубокий сон. Он так страдает в этом сне, но ему будут дарованы освобождение и утешение. Это подлинный, тихий, вечно удручающий и одновременно возносящий патос земного существования⁷².

Фраза «вечно удручающий и одновременно возносящий патос земного существования» одновременно предугадывает главный аргумент книги «Данте — поэт земного мира» и может считаться сокращенным вариантом формулы, значимой для ключевой неоднозначности в практическом экзистенциализме. Она стала лейтмотивом персональной идентичности Ауэрбаха, немало своих работ посвятившего ее изображению в литературе. По мнению Ауэрбаха, судьба как конкретная обыденная жизнь всегда оказывала угнетающее воздействие. Но ему также был знаком возвышающий и радостный опыт обыденной жизни, который подразумевал обязанность противопоставить страданию спокойствие и подлинную индивидуальность. Это могло быть причиной того, почему Ауэрбах, вместо того, чтобы попытаться сбежать из современного мира, стремился лицом к лицу встретиться с препятствиями и преградами, предназначенными ему судьбой.

Наследие Ауэрбаха

Нет никаких сомнений в том, что период между 1911 и 1929 годами стал важным периодом в жизни Эриха Ауэрбаха. Если смотреть на это под таким углом, книги и эссе, которые он опубликовал на протя-

жени своей карьеры, занимая должность профессора литературы, кажутся скорее эпилогом или, выражаясь более поэтически, «порой жатвы». Поэтому я не верю в то, что его страстная увлеченность европейской литературой и способность взглянуть на нее со стороны сформировались во время его изгнания в Стамбуле или даже после его эмиграции в США в 1947 году. В лучшем случае, опыт экспатриации, который ему пришлось пережить из-за национал-социалистического режима, позволил ему полностью осознать свое отстраненное и иногда меланхоличное понимание западной культуры как культуры, достигшей своей финальной стадии. Это также могло помочь ему понять, как эксцентричность могла укрепить ту форму индивидуальности, которую он искал, чтобы противостоять страданиям жизни. В 1946 году, по-видимому, заручившись поддержкой властей территории, в те времена называвшейся «оккупированной СССР зоной» Германии, бывший ассистент Ауэрбаха Вернер Краусс пытался уговорить его занять пост профессора в Университете Гумбольдта в Берлине. И хотя Краусс заверил его в том, что от него потребуются только «общее позитивное восприятие» социализма и коммунизма, а не интеллектуальные и политические обязательства, ответ Ауэрбаха показывает, что он уже в тот момент принял дистанцированность и эксцентричность своего способа существования.

В том, как Вы это излагаете, Ваше предложение вызывает у меня интерес. Но действительно ли там мое место? Я, в конце концов, типичный либерал. Если уж на то пошло, сама ситуация, в которой мне довелось оказаться, только укрепила эти взгляды. Здесь я наслаждаюсь великой свободой *ne pas conclure*. В значительной степени больше, чем в любой другой ситуации, это позволило мне остаться свободным от любых обязательств. Это отношение к жизни человека, который не принадлежит ни одному месту, и который, в сущности, остается чужаком, лишенным возможности быть ассимилированным. Там же, куда Вы мне предлагаете поехать, «положительное отношение» является неременным условием⁷³.

Хотя Ауэрбах никогда не занимался теоретическим осмыслением явных и со временем более очевидных параллелей между своей жизнью и работами (и, как мы можем теперь сказать, это было достаточно для него типичным), можно предположить, что именно эти параллели стали причиной восхищения его коллег и обусловили их неспособность представить его в роли лидера «критической школы».

Либо его студенты не разделяли интеллектуальный и исторический опыт периода 1910–1930 годов, либо же этот опыт побуждал их делать сложный экзистенциальный выбор, как это произошло в случае с Вернером Крауссом. Наше поколение критиков и историков литературы стало намного более скептически — возможно, даже слишком скептически — рассматривать связь между литературными произведениями и нашей повседневной жизнью. Интеллектуальный стиль деконструкции, возможно, в наши дни остается единственным исключением, но единственная экзистенциальная ценность, которую он усматривает в прочтении литературы, — это блеклый вывод о невозможности поиска устойчивого значения и, вместе с тем, иллюзорной природы любой отсылки к экзистенциальному измерению.

С другой стороны, в отсутствие четко очерченной «теоретической позиции» или «метода», сегодня источником нашего, в основном неявного, интереса к имени Ауэрбаха остается *фигура сюжетности*, которая повлияла как на его жизнь, так и на литературные прочтения. Даже те, кому было бы слишком неловко использовать его концепты, могли бы в конечном итоге оказаться не так далеки от его понимания того, что индивидуальность как судьба появляется из неизбежно трагической сферы повседневной жизни и что это условие обязывает нас изобретать нашу идентичность как форму⁷⁴. В то же время, поскольку эта фигура экзистенциального наделения сюжетностью возникла из ситуации, в которой оказался не только Ауэрбах, она может помочь углубить наше историческое понимание того, что выглядит как странная форма толерантности (а иногда даже и сообщничества) среди многих еврейских — или просто инакомыслящих — интеллектуалов по отношению к Третьему Рейху. Кажется, они слишком охотно были готовы подвергнуться ритуальному унижению и преследованиям со стороны национал-социализма, возможно, именно по той причине, что эти ритуалы обязывали их изобретать себя как личностей.

В определенной степени, это то, что могло случиться с Эрнстом Робертом Курциусом, главным оппонентом Ауэрбаха среди литературных историков их поколения. Без еврейских семейных связей и порочащих его политических контактов Курциус мог себе позволить остаться в Германии, хотя дистанция, на которой он держался от национал-социалистов, была довольно известна. Тем не менее, реакции Курциуса и Ауэрбаха на послевоенную ситуацию кардинально различались. В беседе с американским журналистом осенью 1945 года Курциус объяснил, почему он не уехал из Германии после 1933 года. В то время как он, как казалось, был готов разделить груз национальной

ответственности за войну (при этом ни единым словом не упоминая о Холокосте), он громко жаловался на поведение американских оккупационных сил. Вот два пассажира из диалога Стефена Спендера с Курциусом.

С 1933 года я часто думал о том, почему К[урціус] не покинул Германию. Думаю, настоящей причиной была страсть к непрерывности, желание быть укорененным в среду, которая практически лишила его способности действовать. Он сознательно уподобился Гете, который во время Наполеоновских войн кичился тем, что он был подобен величественному утесу, возвышающемуся надо всем и безразличному к волнам, бушующим в сотнях футов у подножия. Даже всегда презирая нацистов, он не симпатизировал и левым, а в основном, именно левые выступали за то, чтобы покинуть Германию. И что важнее всего, он мог чувствовать, что его долг, как неполитического деятеля, был остаться в Германии, чтобы служить примером для молодых людей, демонстрируя им непрерывность мудрой и великой немецкой традиции. Несмотря на все, он был немцем до кончиков ногтей.

У К[урціус] и подобных ему людей было много жалоб по поводу Оккупации. Что меня больше всего поразило в беседах с ними и другими интеллигентными немцами, так это то, что в этих жалобах не было намека на дискриминацию. Некоторые проблемы, по поводу которых возникали жалобы, хотя и причинили немало горя, были неизбежным результатом поражения в войне. К примеру, когда был оккупирован Боннский университет (сначала Бонн оккупировали американцы), в библиотеке видели американского солдата, который уничтожал книги, спасенные из огня — он раскладывал их на столе и кромсал штыком. Подошедшему к нему профессору солдат объяснил свое поведение тем, что он ненавидит все немецкое. Эту историю рассказывали в университетских кругах в качестве примера американского варварства. По моему мнению, она ничего не доказывает, кроме того, что глупость является неизбежным спутником войны⁷⁵.

В отличие от Курциуса, пытавшегося найти утешение в заигрывании с крайне абстрактными стереотипами и тем самым сохранявшего свою веру в превосходство именно той европейской культуры,

которая породила фашизм, письма, которые Ауэрбах писал Вернеру Крауссу в Марбург в 1945–1947 годах, были посвящены исключительно будням послевоенной жизни. Его интересовала судьба многочисленных коллег и бывших студентов, он беспокоился из-за крайне пошатнувшегося здоровья Краусса и пытался ему помочь, посылая через своего сына Клеменса, к тому времени уже поступившего в Гарвард, турецкие сигареты, швейцарские продукты и американские медикаменты. 22 июня 1946 года Ауэрбах даже стал постоянно извиняться, поскольку в условиях сложной экономической ситуации в Стамбуле продажа семейных ценностей не позволяла собрать достаточно денег, чтобы помочь всем, кому он хотел.

Не лучшие времена здесь переживают даже те, кто наживался на войне. Посему я испытываю некоторые трудности, пытаюсь продать мой рояль — как бы ни нужны мне были деньги. Но эти волнения сугубо буржуазного толка. В конце концов, мы очень хорошо живем⁷⁶.

Эти слова объясняют, что имел в виду Эрих Ауэрбах, когда в последнем предложении своей статьи «Филология мировой литературы», опубликованной в 1952 году, он описал себя как «кого-то, кто хочет достичь подлинной любви к миру»⁷⁷. Они даже позволяют нам понять отношение, скрывавшееся за пугающей, если не совершенно безответственной, щедростью, благодаря которой, как он надеялся на протяжении последних годов своей жизни, «немцы избавятся от своего комплекса вины»⁷⁸.

Совсем не под стать духовной щедрости Ауэрбаха была материальная щедрость бюрократов Федеративной республики Германия, где после 1945 года он попытался получить пенсию. Самый последний документ в личном деле Ауэрбаха в Гессенском государственном архиве в Марбурге — это письмо от министра культуры Гессена, адресованное Марии Ауэрбах. На основании сложных отговорок в этом письме ей отказывают в получении платежей за период после смерти ее мужа 13 октября 1957 года. Ирония этого решения была в том, что из-за неуступчивости Эриха Ауэрбаха в решении правовых вопросов, он так официально и не лишился статуса немецкого государственно-го служащего.

ПРИМЕЧАНИЯ

Оригинальная версия этого эссе была докладом на коллоквиуме, посвященном наследию Эриха Ауэрбаха, который проводился в Стэнфордском университете в октябре 1992 года. Мне бы хотелось поблагодарить Сета Лирера, организатора стэнфордской конференции, за его советы и поддержку, а также Р. Говарда Блоха, Луиса Коста-Лиму, Томаса Харта, Стивена Николса и Хайдена Уайта за критику и важные идеи. Джудит Батлер и Дэвид Веллери, прослушавшие мой доклад об Ауэрбахе в Университете Джона Хопкинса в декабре 1992 года, очень помогли мне лучше описать жизнь немецких интеллектуалов 1920-х годов. Ни в коей мере не уменьшая степень моей благодарности этим коллегам, мне бы, тем не менее, хотелось подчеркнуть, что больше всего мне помогли в моем исследовании многочисленные продолжительные беседы с сыном Эриха Ауэрбаха Клеменсом. Доступ к документам, которые легли в основу моей работы, я получил благодаря неоценимой помощи Инге Ауэрбах из Гессенского государственного архива в Марбурге (она никак не связана с семьей Эриха Ауэрбаха!), а также У. Бредехорна (отдел рукописей в университетской библиотеке Марбурга), Андреаса Махала (Берлинский земельный архив), г-на Клаусса (Тайный государственный архив / Прусский центр культурного наследия в Берлине), Еве Цише (Государственная библиотека Берлина / Прусский центр культурного наследия), Кароле Шмидт (Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта), Кристиану Вельдеру (Французская гимназия в Берлине), Герхильду Атце (Университетская библиотека Грайфсвальда), г-на Херлинга (Университетский архив Грайфсвальда), Кристиана Ренгера (заведующего архивом университетской библиотеки Гейдельберга) и Вильяма Р. Масса, мл. (архивариуса в отделе по работе с посетителями университетской библиотеки Йельского университета). Карлхайнц Барк (Берлин) и Вольф-Дитер Штепмель (Мюнхен) поделились со мной важными письмами Ауэрбаха. Мой друг Пол Роттманн и мой отец Ханни Гумбрехт нашли для меня копию малоизвестной диссертации Ауэрбаха по праву. И, наконец, последнюю в списке, но не последнюю по значению, мне хотелось бы поблагодарить Мелиссу Голдман за редактирование моего оригинального текста.

1. Роль «филолога», как кажется, была для Ауэрбаха самой любимой и, в конечном счете, самой успешной формой самопредставления. Во время стэнфордского коллоквиума в октябре 1992 года и на протяжении моих исследований я все больше убеждался в том, что она скорее была составляющей его подчеркнуто скромного личного стиля, а не подлинного интеллектуального облика.

2. Латинское значение слова «Клеменс», имени единственного сына Эриха Ауэрбаха, по-видимому, является значимым для доминирующей тоналности его личной и интеллектуальной жизни.

3. Более подробную историю концепта «повседневной жизни» можно найти в моем эссе «*“Altswelt” und “Lebenswelt” als philosophische Begriffe:*

Eine genealogische Untersuchung» в Thomas Kniesche, ed., *Deutsche Intellektuelle in Kalifornien* (готовится к изданию).

4. *Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter* (Bern: Francke, 1958), p. 14.

5. См. Erich Auerbach, «Epilegomena zu Mimesis»: «Я называю реализм, который был неведом классической античности, серьезным, проблематизирующим или трагическим, очевидным образом противопоставляя его “моралистическому” реализму. Возможно, мне стоило бы назвать его “экзистенциальным реализмом”, но мне не хотелось использовать это слишком современное выражение для описания феномена далекого прошлого» (*Romanische Forschungen* 65 [1953]: 4).

6. Клеменс Ауэрбах высказал предположение, что они познакомились через его теть, которая была лучше знакома с еврейскими интеллектуальными кругами Берлина, чем Эрих Ауэрбах.

7. См. Walter Benjamin, *Gesammelte Schriften*. VII / 1 (Frankfurt, 1989), p. 515.

8. Karlheinz Barck, ed., «Fünf Briefe Erich Auerbachs an Walter Benjamin in Paris», *Zeitschrift für Germanistik* 6 (1988): 689–90.

9. Если говорить в общем, семинары и Vorlesungen Ауэрбаха, анонсированные в программах курсов Марбургского университета, кажутся скорее обычными. То, что некоторые из них были непосредственно связаны с полем его тогдашних исследовательских интересов, является вполне типичным, если учитывать немецкий академический принцип «единства преподавания и исследования».

10. Должность Universitätskurator была аналогична должности проректора в американских университетах. Хотя фон Хюльзен после своего увольнения в 1933 году стал членом национал-социалистической партии (что определенно способствовало его восстановлению в должности), Ауэрбах и другие профессора-евреи скорее положительно оценивали консервативный и, следовательно, сравнительно либеральный стиль его управления. См. Klaus Ewald, «Ernst von Hülsen (1875–1950) / Kurator der Philipps Universität» в Ingeborg Schnack, ed., *Marburger Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts* (Marburg, 1977), pp. 210–18.

11. Hessisches Staatsarchiv Best. 310, acc. 1978 / 15, no. 2261. Personalakte Professor Dr. Erich Auerbach. Bd. 2. 1936–66.

12. Фридрих Шюрр (родился в Вене в 1888 году) так и не стал штатным профессором в Граце. После своего назначения в Марбурге, где он в 1937–1939 годах был проректором университета, построил очень успешную карьеру, что привело его в 1940-м году в Кельн, в 1941-м году — в Страсбург (где он занял пост одного из директоров Petrarca-Haus), а зимой 1944–1945 года — в Тюбинген. После окончания Второй мировой Шюрр так и не был снова назначен на должность регулярного профессора. См. Inge Auerbach, *Catalogus professorum academiae Marburgensis* (Marburg, 1979), 2: 607–8.

13. Barck, ed., «Fünf Briefe Erich Auerbachs an Walter Benjamin in Paris», p. 690.

14. См. мою статью «Karl Vosslers noble Einsamkeit: Über die Ambivalenzen der "inneren Emigration"» в R. Geissler and W. Popp, eds., *Wissenschaft und Nationalsozialismus* (Essen, 1988), pp. 275–98.

15. У приватдоцентов было право самостоятельного преподавания, что в немецкой академической традиции являлось необходимым условием для назначения профессором. И хотя это не гарантировало назначения на должность, сам статус можно было получить, пройдя процедуру хабилитации, где главным было решение старших преподавателей, вынесенное на основании прочтения рукописи второй книги и публичной лекции. Ходили слухи, что Краусс собирался уехать из Марбурга утром 30 апреля 1932 года, как раз перед *Habilitationvorlesung*, но, благодаря вмешательству Ауэрбаха в самую последнюю минуту, он согласился прочитать лекцию (см. документы касательно *Habilitation* Краусса и его дальнейшей академической карьеры в Марбурге в *Hessisches Staatsarchiv 307 d*, ас. 1966/10, no. 141 a/b). В письме своему ментору Фосслеру, датированном 22 июня 1931 года (*Bayerische Staatsbibliothek*, Ana 350, 12A), Краусс с изрядной долей самокритики описывает начало своего «Марбургского приключения», подчеркивая, что «дружелюбие Ауэрбаха и удивительно человеческая поддержка, которую он оказывал, были положительной стороной приобретенного опыта».

16. См. документы касательно Краусса в Гессенском государственном архиве и Федеральном архиве Кобленца (M 996 A 7).

17. См. Regina Griebel, Marlies Coburger, and Heinrich Scheel, eds., *Erfasst? Das Gestapo-Album zur Roten Kapelle, Eine Foto-Dokumentation* (Berlin, 1992), pp. 260–61. Студент Краусса Карлхайнц Барк проанализировал документы этого суда: *Werner Krauss im Widerstand und vor dem Reichskriegsgerichtshof*. Ms. Berlin 1992. В папке с перепиской Краусса и Фосслера, хранящейся в Государственной библиотеке Байера, есть и три письма, отправленные Крауссом своему бывшему университетскому ментору из камеры смертников в Плетцензее. Первое из них было написано 20 января 1943 года, через два дня после суда над Крауссом: «Уже долгое время испытываю острую потребность написать Вам, но между тем — не знаю, дошли ли до Вас слухи, — я оказался захвачен темным течением, и теперь оно уносит меня так далеко, что я вынужден попросить прощения. Воспоминания о ваших уроках и обретенном благодаря Вам понимании, о Вашей дружбе и готовности служить примером озаряют эту обитель призраков, и пока я готовлюсь сделать последний шаг, я остаюсь одним из тех, кто может поблагодарить Вас, только продолжая принимать Ваши дары... Чтобы Вы смогли реализовать все свои смелые проекты, я желаю Вам обрести уверенность тех, кто приносит радость и свет в темноту страдания. Так или иначе, время будущих поколений будет принадлежать Вам. С благодарной дружбой и восхищением, я остаюсь тем, кто был всегда Ваш, Вернер Краусс».

18. Одним из них был англовед Макс Дойтчбайн, который в 1930-м году официально пожаловался на нехватку «немецкого духа» в *Habilitationsschrift* Ауэрбаха. Барк предполагает, что участие в этой инициативе приняли также Эрнст Роберт Курциус и Карл Фосслер.

19. Согласно Тее Гумбрехт, которая была студенткой (и поклонницей) Кретшмера в 1940-х годах.

20. Письмо Кретшмера можно найти в досье Краусса в Гессенском государственном архиве.

21. Впечатляющим документом, свидетельствующим о банкротстве традиционного «гуманистического» дискурса, можно считать письмо, в котором декан Эббингхаус, сохранивший свою должность и после окончания войны, 6 июня 1945 года поздравляет Краусса со свадьбой: «Только недавно я понял, что трагические события в вашей жизни были ничем иным, как главой романа. И если я посмотрю на этот роман с точки зрения его будущих читателей, я снова приду к осознанию того, что все бюрократические вопросы должны оставаться на поверхности человеческого существования. Теперь, когда эта проблема решена, Вы, как кажется, находитесь на том этапе своей жизни, которого во взрослом возрасте достигают только те, кто подвергся крайней опасности. Вы открываете в своей жизни новую главу, где все является новым, свободным от прошлого и полным надежд. Отправляясь в плавание по этому пути, кораблям доселе неведомому, пожалуйста, примите вместе со своей женой от меня самые теплые пожелания».

22. В Гессенском государственном архиве: Best. 310, асс. 1978/15, no. 2261. От руки написанное примечание на письме Ауэрбаха, по-видимому, указывает на то, что оно сразу попало в его досье, поскольку его не отсылали ректору.

23. См. Horst Wildmann, *Exil und Bildungshilfe: Die deutschsprachige akademische Emigration in die Türkei nach 1933* (Bern: Herbert Lang, 1973).

24. Юрист Ауэрбаха действительно заходил в офис декана в Марбурге (28 декабря 1936 года), как показывает отметка на его визитке, которая хранится в досье Ауэрбаха в Гессенском государственном архиве. На визитке написано «Dr jur. Carl Haensel. Rechtsanwalt und Notar. Berlin W 15. Kurfürstendamm 26a».

25. Курт Дюринг родился в 1898 году, 28 июля 1934 года он прошел процедуру хабилитации по географии. Его карьера в НСДАП (обычно он работал представителем партии в академической среде) ознаменовалась серией громких назначений и увольнений. Он умер 11 августа 1945 года в Югославии. См. Inge Auerbach, ed., *Catalogus*, vol. 2, p. 793.

26. Хотя там нет негативных наблюдений, в то же время, там подчеркивается, что под руководством Ауэрбаха работал, по крайней мере, один «чистокровный ариец», его ассистент, а сам Ауэрбах совсем недавно удостоился нелестных отзывов от одной своей турецкой коллеги.

27. Летом 1937 года Ауэрбах на два месяца приехал в отпуск в Германию, где он посетил Берлин, а также побывал на озере Констанц и на курорте Гармиш-Партенкирхен. Мари Ауэрбах вернулась еще и в 1938 году. До того как ознакомиться в 1992 году с документами, процитированными выше, Клеменс Ауэрбах, которому в 1937 году было четырнадцать лет, даже не знал, что государственных и партийных чиновников в Германии беспокоил юридический статус проживания его семьи в Турции после эмиграции.

28. См. длинную серию публикаций Ауэрбаха о Вико: его перевод *Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur de Völker: Nach der Ausgabe von 1744 übersetzt und eingeleitet* (Munich: Allgemeine Verlaganstalt, 1925); Benedetto Croce: *Die Philosophie Giambattista Vicos*. Nach der 2. Auflage übersetzt (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1927); «Giambattista Vico», *Der Neue Merkur* 6 (1922); «Vico», *Vossische Zeitung* (June 5, 1929); «Vico und Herder», *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 10 (1932): 671–86; «Vico und Aesthetic Historism», *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 8 (1948): 110–18; «Giambattista Vico e l'idea della filologia», *Convivium* 24 (1956): 394–403. В списке публикаций, помещенном в конце книги *Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie* (Bern: Franke, 1967), упомянуты еще две обзорные статьи, посвященные Вико. Свое прочтение подытожил в введении к книге *Literatursprache und Publikum*, pp. 10ff. Я не буду подробно разбирать вопрос о том, можем ли мы считать интерпретацию Вико, предложенную Ауэрбахом, философски и исторически адекватной, поскольку мой коллега Роберт Харрисон во время стэнфордского коллоквиума дал на него довольно убедительный ответ.

29. «Über Absicht und Methode», p. 17: «[Согласно Вико], филология изучает то, что народы, находясь на различных этапах своего культурного развития, считают истинным (исходя из их ограниченной перспективы) и, следовательно, принимают это за основание для своих действий... Философия же, напротив, имеет дело с неизменной и абсолютной Истиной».

30. Эта мысль лучше всего выражена в эссе Ауэрбаха «*Philologie der Weltliteratur*», в *Gesammelte Aufsätze*, pp. 301–10.

31. В «Über Absicht und Methode», p. 10, Ауэрбах упоминает, что он впервые обнаружил это значение слова «драма» у Вико. В большинстве научных статей, посвященных Ауэрбаку, уделяется подчеркнутое внимание концептам «драмы» и «трагедии» как точкам совпадения между его жизнью и работами. См. Harry Levin, «Two Romanists in America: Spitzer and Auerbach», в Donald Fleming and Bernard Baiylin, eds., *The intellektual Migration: Europe and America, 1930–1960* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969), p. 469; Lowry Nelson, Jr., «Erich Auerbach: Memoir of a Scholar», *The Yale Review* 69, 2 (1980): 312–320; Henri Peyre, «Erich Auerbach (1892/1957) / Romanist», в Ingeborg Schnack, ed., *Marburger Gelehrte*, p. 18; Geoffrey Green, *Literary Criticism and the Structures of History: Erich Auerbach and Leo Spitzer* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1982), p. 55; Paul A. Bové, *Intellectuals in Power: A Genealogy of Critical Humanism* (New York: Columbia University Press, 1986), p. 116.

32. Крайне редко бывало так, чтобы уже опубликованную книгу принимали как *Habilitationsschrift*. Это позволяло руководству университета предлагать автору вносить изменения в окончательную версию рукописи перед отправкой в печать. Исключение из правил могли сделать разве что для тех соискателей, которые не прошли через все ступени университетской карьеры (да и зачастую не очень к этому стремились), а также в случае исключительно добротной выполненной работы.

33. Цитируется по английскому изданию Dante, Poet of the Secular World («Данте, поэт земного мира»), пер. Ralph Manheim (Chicago: University of Chicago Press, 1961), p.viii.

34. См. Главу об «искусственности» в моей книге In 1926: An Essay in Historical Simultaneity.

35. Dante, Poet of the Secular World, p. 1.

36. Ibid., p. 177.

37. Ibid., p. 3.

38. См. следующие два абзаца этого эссе.

39. По словам Клеменса, его отец Ауэрбах так и не приступил к выполнению обязанностей библиотекаря в Марбурге.

40. См. документы в Гессенском государственном архиве: Best. 307d, ass.1966 / 10, no.74.

41. Вольф-Дитер Штемпель дал мне копии двух писем Ауэрбаха Бисвангеру (датированных 3 марта 1930 года и 28 октября 1932-го). После 1933 года Людвиг Бисвангер, который, к огромному сожалению для Ауэрбаха, был почитателем Муссолини, эмигрировал в Италию, где и открыл небольшой отель во Флоренции. Несколько лет спустя он уехал в Новую Зеландию и, в конце концов, стал университетским профессором. Ауэрбах опубликовал рецензию на книгу Бисвангера Die aesthetische Problematik Flauberts (1934) в Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 58 (1937): 111–13.

42. См. среди многочисленных биографий Шпитцера, Fritz Schalk, «Leo Spitzer (1887–1960) / Romanist», в Schnack, ed., Marburger Gelehrte, pp. 523–35.

43. Ауэрбах использует слово Geheimrat («тайный советник»), так в некоторых немецких округах называли особенно отличившихся государственных служащих (к примеру, Карла Фосслера). Отец Ауэрбаха, бывший владельцем сахарного завода, получил аналогичный титул Kommerzienrat.

44. В личном деле Ауэрбаха нет документов, которые бы свидетельствовали о таких поисках, отсутствуют они и в документах декана, хранящихся в Гессенском государственном архиве в Марбурге.

45. Рецензия Ауэрбаха появилась в Deutsche Literaturzeitung 53 (1932): 360–63. Я цитирую по изданию: Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, p. 344.

46. Цит. по: Nelson, «Erich Auerbach: Memoir of a Scholar», p. 320. Вторая часть этого краткого посвящения Ауэрбаха взята из Purgatorio XXXII, 102: «di quella Roma onde Cristo è romano».

47. Nelson, «Erich Auerbach: Memoir of a Scholar», p. 320.

48. Ernst Robert Curtius, Deutscher Geist in Gefahr (Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1932), p. 9.

49. Помимо политического посыла в книге Курциуса содержится и аргумент о необходимости возвращения в рамках подобного проекта нового гуманизма к средневековой культуре. Эта идея, по-видимому, вдохновила Курциуса на написание книги Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (которая была наконец-то опубликована в 1948 году). См. Deutscher Geist in Gefahr, p. 31.

50. Письмо Людвигу Бисвангеру, 28 октября 1932 г.

51. См. мое эссе «“Alltagswelt” und “Lebenswelt” als philosophische Begriffe».

52. См. Ferdinand Fellmann, *Phänomenologie und Expressionismus* (Freiburg, 1982), p. 52–53.

53. См. Martin Heidegger, *Being and Time*, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (San Francisco: HarperCollins, 1967, p. 69) и исторический анализ *Sein und Zeit* в последней главе моей книги «1926».

54. См. Ferdinand Fellmann, *Gelebte Philosophie in Deutschland: Denkformen der Lebensweltphilosophie und der kritischen Theorie* (Freiburg: Alber, 1983), pp. 80–98.

55. Oswald Spengler, *The Decline of the West*, trans. Charles Francis Atkinson (New York: Alfred Knopf, 1976), p. 506.

56. См. Fellmann, *Gelebte Philosophie*, pp. 98–109.

57. Этой гипотезой я обязан беседам с Джеффри Шнаппом.

58. См. мое эссе «Karl Vosslers noble Einsamkeit».

59. Без сомнения, это связано с тем, что до Второй мировой Abitur, открывавший возможность университетского образования, сдавала только очень небольшая часть населения.

60. Перевод цитаты из: Christian Velder, ed., *300 Jahre Französisches Gymnasium Berlin* (Berlin: Nicolai, 1989), pp. 455–59.

61. Согласно Клеменсу Ауэрбаху, его отец сделал этот шаг без какого бы то ни было давления со стороны семьи. Для тех, кто это мог себе позволить, частая смена университетов была одним из самых приятных аспектов студенческой жизни.

62. Впечатление о том, что Ауэрбаху ни в коей мере нельзя было назвать блестящим испытуемым, подтверждается тем, что он получил самую низкую степень (rite) из возможных. С другой стороны, это считалось нормальным для докторов юриспруденции и медицины, которые не пытались начать академическую карьеру. В этом контексте должен упомянуть, что я не вполне уверен в том, правильно ли я понимаю соответствующий абзац в докторском дипломе Ауэрбаха:

GRADUM DOCTORIS

SUMMOS IN UTROOQUE IURE HONORES

RITE CONTULIMUS ET HOC DIPLOMATE SIGILLO ORDINIS

NOSTRI MUNDO TESTATI SUMUS

Двусмысленность этого текста кроется в том, что слова *summos honores* можно прочитать и как часть фразы «доктор обоих прав», и как оценку (что означало бы, что Ауэрбах удостоился наивысшего балла). Вместе с тем, можно прочитать наречие *rite* или в смысле «надлежащим образом» (*orderly*), или как обозначение наименьшего балла.

63. Auerbach, *Die Teilnahme in der Vorarbeiten zu einem neuen Strafgesetzbuch* (Berlin: Frensdorf, 1913), pp. 15–16.

64. По этому случаю Ауэрбах был награжден Железным крестом II-й степени.

65. Это не тот самый Ломмач, который принимал у Ауэрбаха экзамен по латыни в Грайфсвальде и позднее стал его коллегой в Марбурге. Эберхард Ломмач занимался исторической лингвистикой и позднее прославился как редактор *Altfranzösisches Wörterbuch*. Даже в большей степени, чем комментарий Шпитцера по поводу *Habilitation* Ауэрбаха, крайне специфический отзыв Ломмача о его диссертации позволяет понять, что основную линию аргументации Ауэрбах продумал самостоятельно. Степень *valde laudabile* отсылала исключительно к рукописи диссертации, в то время как по итогам устной части защиты (*Rigorosum*) Ауэрбах получил не только *rite* по латыни, но также и *kaum ausreichend* по философии.

66. Auerbach, *Zur Technik der Frührenaissancenovelle in Italien und Frankreich* (Heidelberg, 1921), p. 1.

67. Это почетное звание получил и тесть Ауэрбаха, в его случае оно звучало как *Justizrat*.

68. Auerbach, «Racine und die Leidenschaften», *Germanisch-Romanische Monatsschrift* 14 (1926): 380. (Это эссе было повторно опубликовано в *Gesammelte Aufsätze*, pp. 196–203). По-видимому, эта статья легла в основу внушительного исследования Ауэрбаха по социологии французской публики XVII века — *Das französische Publikum des 17. Jahrhunderts* (Munich: Hueber, 1933). Если взглянуть на это с перспективы тоглашнего времени, то любопытным кажется то, что в этом же выпуске *Germanisch-Romanische Monatsschrift* была и статья о «трагическом»: Max J. Wolf, «Die Freude am Tragischen», pp. 390–97.

69. Auerbach, «Paul-Louis Courier», *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 4 (1926): 520, 543.

70. Auerbach, «Über das Persönliche in der Wirkung des hl. Franz von Assisi», *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 5 (1927): 70, 77. (Эссе впоследствии было также опубликовано в *Gesammelte Aufsätze*, pp. 33–42).

71. См., к примеру, главу о Прусте в: Ernst Robert Curtius, *Französischer Geist im neuen Europa* (Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1925).

72. «Marcel Proust: Der Roman von der verlorenen Zeit», *Die Neueren Sprachen* 35 (1927): 16–22. (Эссе впоследствии было также опубликовано в *Gesammelte Aufsätze*, pp. 296–301).

73. Из письма Крауссу, написанного 27 августа 1946 года из Стамбула. См. *Beiträge zur Romanischen Philologie* 26 (1987): 371.

74. Подобная конфигурация, по-видимому, определяет и наше отношение к жизни и биографии Мишеля Фуко. См. James Miller, *The Passion of Michel Foucault* (New York: Simon and Schuster, 1933), pp. 319ff, а также мое эссе «Beyond Foucault / Foucault's Style», *Symptome* 10 (1992), pp. 40–45.

75. Stephen Spender, «German Impressions and Conversations», *Partisan Review* 18, 1 (Winter 1946): 8, 11.

76. *Beiträge zur Romanischen Philologie* 17 (1987): 316.

77. *Gesammelte Aufsätze*, p. 310.

78. См. Peyre, «Erich Auerbach (1892–1857) / Romanist», в Schnack, ed., *Marburger Gelehrte*, pp. 10–21, 11.